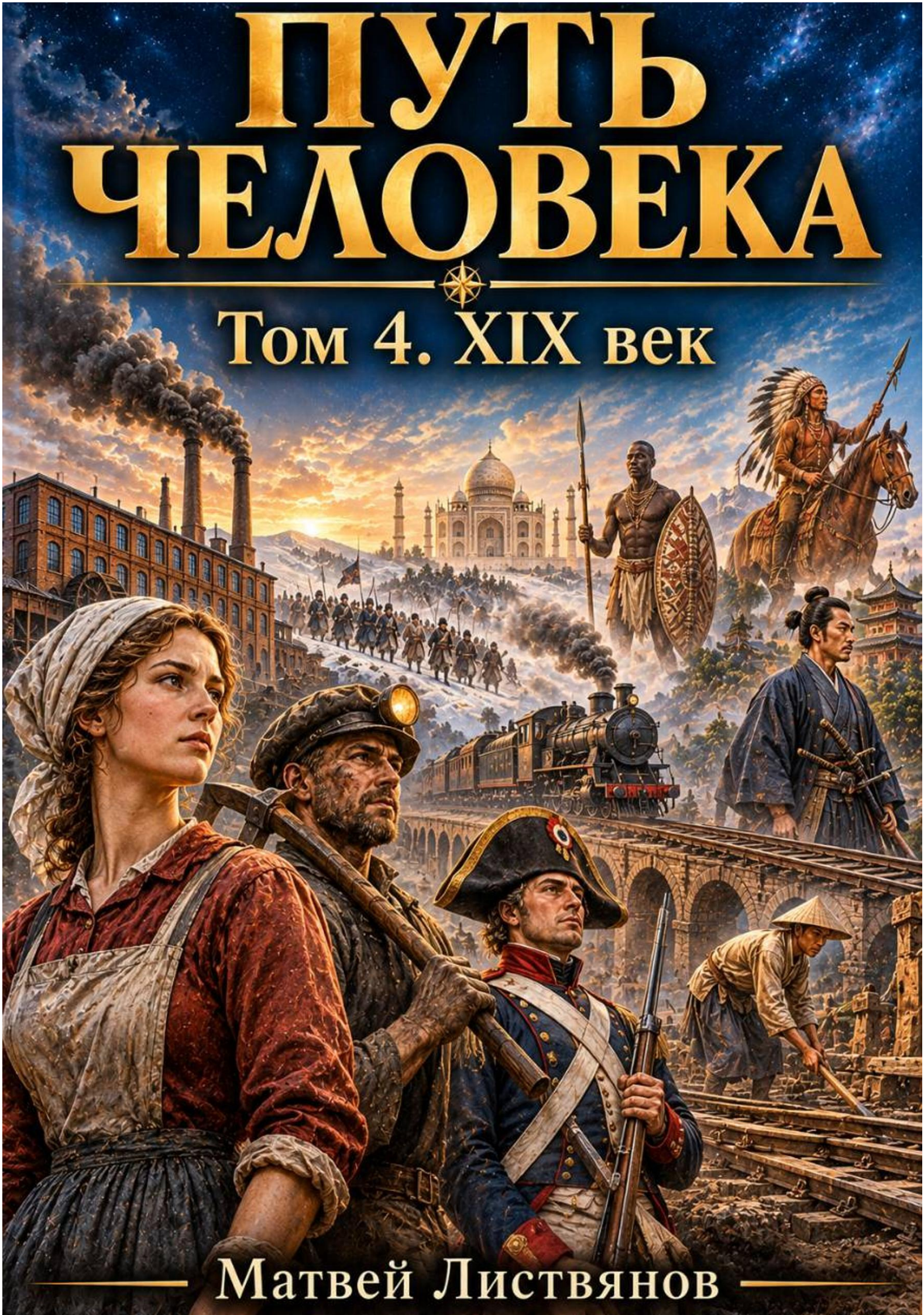
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Том 4. XIX век



Матвей Листвянов

Матвей Листвянов

Путь человека. Том 4. 19 век

«Автор»
2026

Листвянов М.

Путь человека. Том 4. 19 век / М. Листвянов — «Автор», 2026

Шестнадцать глав об индустриализации, которая меняет само понятие труда:работница текстильной фабрики в Манчестере, начавшая работать в восемь лет,раб на хлопковой плантации американского Юга, старатель золотой лихорадки,декабрист на Сенатской площади, зулусский воин при Изандлване. Эксплуатациятруда — паровая машина, фабрика, плантация — здесь выходит на первый планрядом с войнами за независимость и отмену рабства, превращая XIX век в эпоху,где человеческая цена прогресса видна особенно отчётливо. Четвёртый том цикла«Путь человека».

© Листвянов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Содержание 6
Работница текстильной фабрики в Манчестере 7
Шахтёр английской угольной шахты 12
Солдат Великой армии Наполеона на пути в Москву 17
Солдат Армии Союза, бывший раб 22
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Матвей Листвянов
Путь человека. Том 4. 19 век

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 4. XIX век

Матвей Листвянов

Содержание

Работница текстильной фабрики в Манчестере
Шахтёр английской угольной шахты
Солдат Великой армии Наполеона на пути в Москву
Солдат Армии Союза, бывший раб
Солдат армии Конфедерации
Раб на хлопковой плантации американского Юга
Старатель Золотой лихорадки в Калифорнии
Старатель Золотой лихорадки на Клондайке
Китайский рабочий на трансконтинентальной железной дороге
Британский колониальный чиновник в Индии
Зулусский воин при Изандлване
Крепостной крестьянин России накануне реформы 1861 года
Декабрист на Сенатской площади
Солдат войны за независимость Латинской Америки
Самурай, потерявший сословие в эпоху Мэйдзи
Воин лакота при Литтл-Бигхорне

Работница текстильной фабрики в Манчестере

Элис Мортон родилась в 1833 году в районе Анкотс на восточной окраине Манчестера — одном из самых тесных и дымных кварталов города, который к тому времени уже называли «Коттонополисом», столицей хлопчатобумажной империи, выросшей из скромного рыночного городка меньше чем за полвека. Отец её, Сэмюэл Мортон, когда-то был ручным ткачом и зарабатывал неплохо для своего круга, пока механические станки одна за другой не вытеснили ручной труд из прядильных и ткацких мастерских: ещё его отец застал времена, когда ткач работал у себя дома на простом станке и сам торговался с скупщиком полотна, а к зрелым годам Сэмюэла целые улицы бывших ткачей остались без ремесла, вытесненные паровыми машинами, которые ткали быстрее, дешевле и без устали. Ко времени рождения дочери Сэмюэл уже перебивался случайными заработками носильщика на товарном складе у канала, а основным добытчиком в доме стала мать, Ханна, работавшая чесальщицей на одной из городских фабрик — разбирала и расчёсывала сырой хлопок перед прядением, вдыхая волокнистую пыль по двенадцать часов в день. Семья ютилась в сыром подвальном этаже тесного дома с общей на несколько семей уборной во дворе — такие дома-казармы без промежутка между фасадами, «спина к спине», вырастали в Манчестере целыми кварталами без канализации и почти без дневного света, а воздух был вечно пропитан угольной копотью из труб соседних фабрик, так что бельё, вывешенное для просушки, к вечеру часто оказывалось темнее, чем до стирки. Роды принимала соседка-повитуха, врача на такой квартал не хватало, и из шести детей, рождённых Ханной Мортон, выжили к совершеннолетию только трое — остальные не пережили младенчества, унесённые то лихорадкой, то дизентерией, обычными спутниками тесноты и грязной воды в рабочих кварталах, куда городской водопровод толком не добирался.

Детство Элис было коротким в самом буквальном смысле: едва ей исполнилось пять лет, она уже нянчила младшую сестру, пока мать была на смене, училась штопать и подметать, а с шести-семи лет бегала по поручениям соседей за гроши — отнести записку, отстоять очередь у лавки, присмотреть за чужим ребёнком. По воскресеньям её водили в приходскую школу при англиканской церкви — единственное подобие образования, доступное детям квартала: там за час до или после службы десяток-другой ребят учили буквам и заповедям, и к семи годам Элис уже могла с трудом разобрать печатную страницу, хотя писать толком не умела. Рацион семьи состоял из хлеба с патокой или смальцем, жидкой овсяной каши, время от времени картофеля и очень редко мяса, разве что воскресный кусок бекона на всю семью; молоко в городе часто разбавляли водой или мелом нечистые на руку торговцы, и дети от него скорее слабели, чем крепли, а многие соседские младенцы, которых поили дешёвым снадобьем на опии, чтобы те не плакали, пока матери на смене, и вовсе отставали в росте. Квартал Анкотс в те годы жил не только фабричным трудом, но и памятью о политических потрясениях недавнего прошлого: старики ещё рассказывали детям о бойне у Питерлоо в 1819 году, когда конная милиция разогнала саблями мирный митинг за избирательные права прямо в центре Манчестера, и о том, как после этого город долго жил под подозрительным присмотром властей, опасавшихся новых волнений. К тому времени, когда подрастала Элис, по рабочим кварталам снова ходили листовки чартистского движения, требовавшего всеобщего избирательного права для мужчин и облегчения участи фабричных рабочих; отец её, хоть и не состоял в организации, не раз водил семью слушать уличных ораторов на пустыре у канала, где звучали те же требования, что когда-то стоили крови на Питерлоо. В 1849 году квартал пережил новую вспышку холеры, занесённой с заражённой водой, — болезнь косила целыми улицами, не разбирая возраста, и Элис, которой было тогда шестнадцать, несколько недель помогала соседям хоронить умерших, прежде чем эпидемия отступила так же внезапно, как пришла. Соседи по кварталу, такие же фабричные семьи, как Мортоны, держались друг друга в тяжёлые вре-

мена цепкой взаимовыручкой бедняков: женщины по очереди присматривали за чужими младенцами, пока матери были на смене, делились последним куском хлеба в голодные недели и сообща оплакивали частые похороны детей, которые в Анкотсе случались едва ли не чаще крестин. Именно в этой среде взаимной поддержки, а не в редких и скудных государственных или церковных благотворительных учреждениях, фабричная беднота находила единственную доступную ей форму социальной защиты задолго до того, как государство вообще задумалось о сколько-нибудь систематической помощи промышленным рабочим. В 1841 году, когда Элис было восемь лет, отец устроил её на фабрику Мургейта — крупную прядильную мануфактуру неподалёку от канала Рочдейл, куда детей брали, несмотря на формальные ограничения закона: Акт о фабриках 1833 года запрещал нанимать детей младше девяти лет на текстильные производства и обязывал хозяев отпускать работающих детей на два часа школы в день, но соблюдение закона на практике зависело от горстки правительственных инспекторов на весь промышленный север Англии, а заводская контора Мургейта, принимая Элис, просто записала в книге другую, более подходящую дату рождения — обычная уловка, на которую закрывали глаза и чиновники, и сами семьи, отчаянно нуждавшиеся в лишнем заработке.

Обучение фабричному ремеслу не заняло у Элис много времени, потому что никакого формального ремесла в современном смысле не существовало — был только навык, перенимаемый за несколько дней тычками и окриками старших рабочих. Её поставили «пищером» — девочкой, которая ходит вдоль длинного ряда прядильных мюль-машин и срастывает узлом оборванные нити, пока веретёна продолжают вращаться, а затем, когда освоилась, перевели в «уборщицы под станком» — работу, которую на фабриках считали делом исключительно детских рук: машину не останавливали ради уборки, и ребёнок должен был проворно нырять под движущуюся раму мюль-машины, чтобы подобрать сбившийся пух и обрывки хлопка, пока валы и шпиндели находились в паре дюймов от его головы и пальцев. Мастер цеха, грузный ирландец по фамилии Доэрти, обучал новеньких одним способом — хворостиной по спине за неповоротливость, и дети быстро усваивали, что промедление под станком означает не выговор, а травму; на памяти Элис за первый же год в цеху один из мальчиков лишился двух пальцев, замешкавшись под кареткой мюль-машины, и после недолгого отсутствия вернулся к работе с перевязанной рукой, потому что семья не могла позволить себе содержать его без заработка даже на неделю. Смена длилась двенадцать часов с коротким перерывом на обед, иногда и дольше, если фабрика получала срочный заказ, а будить Элис приходилось затемно — бригадир-будильщик, которому платили местные семьи в складчину, стучал длинным шестом в окна по кварталу за час до рассвета, и опоздавшего на смену рабочего встречали у ворот штрафом, вычитаемым прямо из скудного недельного жалованья; тот же штраф полагался за разговоры у станка, за грязную нить, за любую мелкую провинность, которую надсмотрщик мог при желании отыскать.

Повзрослев, Элис перешла на должность «сучильщицы» — полноценной работницы у прядильной машины, которая уже не только убирала, но и обслуживала несколько веретён сразу, следя за натяжением нити и скоростью вращения барабана, а заодно обучая очередную смену малолетних пищеров тем же приёмам, каким когда-то обучили её саму. Грохот в цеху стоял такой, что работницы разучивались разговаривать обычным голосом и переходили на особый беззвучный «фабричный язык губ», понятный только своим; к двадцати годам у многих прядильщиц уже заметно садился слух, а у некоторых развивалась почти полная глухота, так что старые работницы цеха узнавали друг друга скорее по движению губ и жестам, чем по оклику. Взрослый рацион отличался от детского немногим — всё тот же хлеб, картофель, иногда селёдка или требуха, по субботам, в день получки, семья могла позволить кусок мяса или кусок сыра, — но денег хватало редко, особенно в недели, когда цена на хлопок-сырец из южных штатов Америки взлетала и фабрику переводили на сокращённую смену, а заодно и в недели, когда хозяин фабрики, пользуясь так называемой «трак-системой», настаивал на рас-

чёте частью товаров из собственной лавки по завышенной цене вместо полновесных денег — практика, формально запрещённая законом ещё с 1831 года, но на деле изживавшаяся десятилетиями. Воздух в прядильном цеху был густым от хлопковой пыли и нарочно поддерживался влажным и тёплым — владельцы фабрик держали окна закрытыми и котлы на полную мощность, потому что от сырости хлопковая нить меньше рвалась, а работницы страдали кашлем, который позже назовут биссинозом, «коричневой лёгочной болезнью» прядильщиков, хотя тогда этому просто не знали имени и считали обычной рабочей немочью, с которой свыкались, как с неизбежной платой за фабричный хлеб.

Переломным эпизодом в жизни Элис стал случай зимой 1847 года, когда ей было четырнадцать лет: соседка по ряду станков, девочка по имени Грейс Уилкинсон, помладше её на два года, замешкалась, доставая зацепившийся за вал клок хлопка, и рукав её платья намотало на вращающийся шпиндель прежде, чем она успела отдёрнуть руку. Элис, стоявшая у соседней машины, услышала крик сквозь обычный грохот цеха — звук, которому фабричные работницы умели верить мгновенно, не раздумывая, — и бросилась к рубильнику аварийной остановки, грубому деревянному рычагу у торца ряда станков, который приводил в движение общий трансмиссионный вал всего цеха и который полагалось дёргать лишь в самом крайнем случае, под страхом штрафа за простой машин. Остановить машину полностью удалось не сразу — пока надсмотрщик бежал через весь цех к главному паровому приводу, — но именно эти несколько выигранных секунд спасли Грейс руку, пусть и покалеченную: девочка лишилась двух пальцев и части ладони, но осталась жива и даже вернулась на фабрику месяц спустя, потому что семья без её заработка голодала, а других источников дохода у вдовы Уилкинсон не было. Самой Элис тот день тоже едва не стоил увечья — бросаясь к рубильнику, она зацепилась юбкой за соседний механизм и выдернула ткань с такой силой, что потеряла равновесие и упала в проход между станками, отделавшись лишь ушибами и рассечённым лбом, шрам от которого остался у неё над бровью на всю жизнь. Этот случай навсегда остался в её памяти как доказательство того, насколько тонкой была грань между обычным рабочим днём и увечьем или смертью — грань толщиной в секунду промедления, — и она с тех пор приучила себя работать с удвоенной настороженностью, что, по её собственным словам, не раз спасало и её, и соседок по ряду в последующие годы; надсмотрщик Доэрти, вопреки обыкновению, в тот день не оштрафовал её за порванную юбку и остановку машины, лишь коротко буркнув, что девчонка не растерялась — высшая похвала, какую он вообще был способен произнести.

В девятнадцать лет, в 1852 году, Элис вышла замуж за Джеймса Фёргюсона, механика той же фабрики, чинившего прядильные машины и паровой привод и имевшего благодаря этому навыку заработок чуть выше обычного фабричного рабочего — должность механика считалась среди рабочих завидной, потому что требовала грамотности и понимания устройства машин, которому Джеймс выучился подмастерьем у старшего мастера ещё подростком. Свадьбу справили скромно, в приходской церкви Святого Марка, с коротким застольем из пирога и эля в съёмной комнате, которую молодые сняли неподалёку от фабрики, в двух кварталах от родительского дома Элис; работать она не бросила — замужние женщины в хлопковых городах Ланкашира продолжали трудиться на фабриках почти так же часто, как незамужние, потому что заработка одного мужчины почти никогда не хватало на содержание семьи, а фабричные хозяева охотно нанимали замужних работниц как более опытных и ответственных. У них родилось четверо детей, из которых выжили двое, — старшая дочь Марта и сын Уильям, — и обоих, едва им исполнилось восемь-девять лет, Элис с тяжёлым сердцем, но без колебаний отвела на ту же фабрику Мургейта, где начинала сама: иного пути прокормить семью она не знала, да и закон к тому времени, после Акта десяти часов 1847 года, хотя бы ограничил рабочий день женщин и подростков более щадящими рамками, чем те двенадцать-четырнадцать часов, что выпали на её собственное детство.

Самым тяжёлым испытанием зрелых лет Элис стал так называемый «хлопковый голод» — годы 1861–1865, когда гражданская война в далёкой Америке перекрыла привычный поток южного хлопка-сырца в английские порты, и ланкаширские фабрики одна за другой вставали на простой или сокращали смены почти до нуля. Фабрика Мургейта продержалась дольше многих соседних, перейдя на индийское и египетское сырьё худшего качества, но и там Джеймса с Элис на несколько месяцев перевели на треть прежнего жалованья, а затем и вовсе рассчитали вместе с половиной цеха; семья пережила эти месяцы на благотворительном пособии манчестерского комитета помощи голодающим рабочим и на скудных сбережениях, которые успела отложить Элис, зная цену плохим временам ещё с детства, — и хотя в квартале поговаривали, что хозяева фабрик втайне рады поводу урезать плату рабочим без лишних объяснений, сама Элис запомнила эти годы прежде всего страхом за детей, которым в иные недели доставалось меньше хлеба, чем требовал растущий организм. К 1865 году, когда в Америке закончилась война и поставки хлопка возобновились, фабрика вновь набрала рабочих, и Элис вернулась к станку уже тридцатидвухлетней женщиной, более худой и более молчаливой, чем прежде. Дом их к тому времени состоял уже из двух комнат вместо одной — небольшое улучшение, которым Джеймс как механик был обязан всё той же фабрике, предоставлявшей квалифицированным рабочим чуть более приличное жильё в новых рядах террасных домов, выстроенных неподалёку от канала; по субботним вечерам, если хватало сил и денег, семья позволяла себе поход в мюзик-холл по соседству, где за несколько пенсов показывали незатейливые представления с песнями и фокусами — едва ли не единственное развлечение, доступное фабричному люду помимо церкви и паба. Марта и Уильям росли смышлёными не по годам детьми, привыкшими помогать по хозяйству и присматривать друг за другом, пока родители были на смене, и хотя Элис втайне мечтала, чтобы хоть один из них избежал фабричной судьбы, устроившись в лавку или в контору, обоих в итоге поглотил тот же круг прядильных цехов, что определял жизнь большинства семей квартала.

Старость подкралась к Элис раньше срока, как и ко всем долго проработавшим прядильщицам её поколения: к пятидесяти годам дыхание у неё стало тяжёлым и свистящим, особенно по понедельникам после воскресного отдыха от хлопковой пыли — рабочие прозвали это состояние «понедельничной лихорадкой», когда лёгкие, за выходной день успевшие немного очиститься, болезненно реагировали на первый же вдох фабричного воздуха новой недели. Слух, подорванный десятилетиями грохота машин, почти полностью оставил её к шестидесяти, и последние годы работы на фабрике, уже не у станка, а в должности надсмотрщицы над малолетними пищерами, она объяснялась с девочками в цеху больше жестами, чем голосом, которого сама толком не слышала, — девочки за глаза звали её «тихой мисс Мортон», не зная, что тишина эта далась ценой тридцати лет грохота. Джеймс умер раньше неё, в 1881 году, от травмы, полученной при ремонте трансмиссионного вала, когда неисправный зажим сорвался и ударил его по голове; Элис пережила мужа на двенадцать лет, нянчила внуков от выросших Марты и Уильяма, которые к тому времени тоже работали на манчестерских фабриках, хотя Уильяму, в отличие от матери, уже не пришлось начинать в восемь лет — к 1870-м годам новый закон поднял минимальный возраст найма и обязал детей посещать школу дольше прежнего. Умерла Элис в 1893 году в возрасте шестидесяти лет от хронической болезни лёгких, которую домашний врач рабочего квартала в свидетельстве о смерти так и записал — «болезнь прядильщицы», — выражение, понятное в Манчестере любому, кто хоть день провёл в прядильном цеху. Похоронили её на приходском кладбище Анкотса, среди тысяч таких же работниц хлопковых фабрик, чьи надгробия, если и ставились, терялись в тесноте городских погостов так же, как терялись при жизни их имена среди шума работающих круглые сутки машин, — и всё же дочь её Марта ещё долгие годы хранила историю о том дне 1847 года, когда мать, рискуя собственной рукой, успела дотянуться до рубильника раньше, чем машина искалечила соседскую девочку навсегда. На похоронах Элис соседки по бывшему цеху — те немногие, кто

дожил вместе с ней до старости, не сгинув раньше от той же лёгочной немочи или фабричного увечья, — стояли у могилы молча, скорее по привычке, выработанной десятилетиями немого фабричного языка, чем по недостатку слов: что бы они ни хотели сказать о прожитой Элис жизни, всё это без остатка укладывалось в одно общее для них слово — выжила, а значит, не зря.

Шахтёр английской угольной шахты

Угольная промышленность Британии к середине девятнадцатого века превратилась в главный источник энергии, питавший всю индустриальную революцию страны — паровые машины фабрик, пароходы, а вскоре и железные дороги требовали угля во всё возрастающих количествах, — и именно эта всё растущая зависимость экономики от угля определяла и быстрый рост шахтёрских посёлков вроде Нью-Хартли, и то пренебрежение к безопасности горняков, с каким владельцы шахт зачастую относились к условиям труда людей, добывавших топливо для процветания остальной страны. Томас Хэдли родился в 1825 году в шахтёрском посёлке Нью-Хартли на северо-востоке Англии, в графстве Нортумберленд, в семье потомственного забойщика угольной шахты Хартли-Колльери. Дом, в котором он появился на свет, принадлежал не семье, а компании-владельцу шахты: длинный ряд одноэтажных кирпичных коттеджей для шахтёрских семей стоял прямо у ствола шахты, и рождение, свадьба, работа и смерть большинства обитателей посёлка были привязаны к одному и тому же угольному пласту так же крепко, как у крепостного крестьянина — к земле помещика. Роды принимала местная повитуха — в посёлке на несколько сотен семей не было постоянного врача, и за медицинской помощью при осложнённых родах приходилось посылать верхом в ближайший городок, что при схватках чаще всего означало, что помощь попросту не успевала. Посёлок Нью-Хартли, как и десятки подобных шахтёрских поселений северо-востока Англии, жил собственным замкнутым миром, во многом отдельным от остальной страны: своя лавка компании, где рабочим выдавали часть жалованья товарами вместо денег, свой методистский молельный дом, куда по воскресеньям стекался едва ли не весь посёлок, — шахтёры Нортумберленда и Дарема в большинстве своём тяготели не к официальной англиканской церкви, а к простому и строгому методизму, нередко сами становясь проповедниками-мирянами между сменами, — и своя неписаная иерархия, где опытный забойщик пользовался куда большим уважением соседей, чем заезжий конторский клерк компании. Уголь из Нортумберленда и Дарема грузили на баржи и корабли в близлежащих портах и везли морем в Лондон и дальше, снабжая топливом паровые машины фабрик и пароходов по всей стране, так что от глубины этих тесных забоев в буквальном смысле зависело, закрутятся ли колёса остального индустриального государства. Отец Томаса, Уильям Хэдли, работал забойщиком — рубил уголь в узком пласте киркой, лёжа или на коленях в пространстве высотой едва ли в три фута, — а мать, помимо хозяйства и пятерых детей, подрабатывала сортировщицей угля на поверхности, отделяя породу от топлива на решётчатом столе рядом со стволом шахты.

Детство в шахтёрском посёлке начиналось рано и сурово: мальчиков готовили к спуску под землю с тем же будничным ожиданием, с каким в земледельческой деревне готовили сына к полевой работе. Уже в пять лет Томас начал прислуживать по хозяйству и присматривать за младшими, а в шесть его взяли под землю на должность «трапёра» — ребёнка, который сидит в темноте у деревянной вентиляционной двери в штреке по десять-двенадцать часов и открывает её при приближении вагонетки с углём, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к забоям, а затем снова захлопывает дверь, стоит вагонетке проехать. Работа трапёра считалась самой лёгкой из шахтёрских обязанностей, но именно от неё в детской памяти Томаса осталось самое тяжёлое впечатление: часами сидеть одному в полной темноте — свеча или масляная лампа полагалась не каждому ребёнку, а шахтный устав строго запрещал открытый огонь там, где скапливался рудничный газ, — вздрагивая на каждый шорох, опасаясь крыс не меньше, чем обвала. Детский рацион состоял из хлеба с салом, который брали с собой на смену в жестяной коробке, холодного чая в бутылке, иногда овсяной каши дома утром и вечером, а мясо на столе шахтёрской семьи появлялось немногим чаще, чем в семье фабричного рабочего, — разве что по воскресеньям, если неделя выдалась без простоев и вычетов. Школь-

ного образования в обычном смысле дети посёлка почти не получали: единственной грамотой, которую успевал усвоить мальчик вроде Томаса до спуска под землю, была воскресная школа при методистском молельном доме, где немолодой проповедник-доброволец по часу в неделю учил ребят читать Писание по складам; этой крупицы грамоты Томасу хватило на всю жизнь — читать он выучился сносно, писать же толком так и не научился, подписываясь позже крестом или простым оттиском большого пальца там, где требовалась подпись. Закон 1842 года, принятый ещё до того, как Томас начал работать под землёй в силу возраста, формально запретил нанимать на подземные работы женщин, девочек и мальчиков младше десяти лет — следствие громкого парламентского расследования, вскрывшего условия труда детей в шахтах по всей стране, — но в отдалённых шахтёрских посёлках вроде Нью-Хартли соблюдение нового закона на практике растягивалось на годы, и ровесники Томаса спускались в забой едва ли не так же рано, как спускался под землю он сам.

Посвящение в настоящее шахтёрское ремесло началось для Томаса около десяти-одиннадцати лет, когда его перевели из трапёров в «тягловые» — толкать и возить гружёные углём вагонетки-корфы от забоя к стволу шахты по узким и низким штрекам, где взрослый человек не мог распрямиться во весь рост, а порой приходилось передвигаться на четвереньках, упираясь в упряжь, перекинутую через плечи и между ног, точно у вьючного животного. Именно в эти годы Томас выучился отличать разновидности рудничного газа по запаху и по поведению пламени масляной лампы, различать потрескивание угольного пласта перед обвалом и шум, предвещающий внезапный выброс метана, — знания, которые передавались не книгой, а личным примером старших, часто ценой чьей-то увечной руки или ноги. К двенадцати-тринадцати годам он уже достаточно окреп, чтобы встать подручным при отце-забойщике, держа лампу и отгребая нарубленный уголь, пока тот орудовал киркой в тесном забое, лёжа на боку в пыли и угольной крошке; этот этап ученичества длился ещё несколько лет, пока Томас не овладел достаточной силой и сноровкой, чтобы рубить пласт самостоятельно.

В эти же годы ученичества Томас выучился обращаться с лампой Дэви — закрытой предохранительной лампой с металлической сеткой вокруг пламени, изобретённой ещё в 1815 году и к тому времени ставшей обязательной почти на всех английских шахтах, где был риск скопления рудничного газа; лампа эта спасала множество жизней, не давая открытому огню воспламенить метан, но света давала куда меньше свечи, так что забойщики работали в вечном полумраке, различая пласт угля больше на ощупь, чем на глаз. Отец учил его также распознавать звук, с каким оседает порода над головой перед обвалом — особое поскрипывание деревянных стоек крепи, — и Томас на всю жизнь запомнил наставление отца: услышал скрип — бросай кирку и беги к ближайшей целой крепи, а разбираться, настоящая ли опасность, будешь потом. Помимо забойщиков и трапёров, шахта Хартли-Колльери содержала и других работников со своими особыми обязанностями: откатчиков, толкавших гружёные вагонетки по рельсовым путям штреков, крепильщиков, устанавливавших деревянные стойки для поддержки кровли выработанного пространства, и штейгеров — горных мастеров, отвечавших за безопасность и организацию работ на вверенном им участке шахты, — сложная система разделения труда, которую Томас в полной мере постиг лишь к зрелым годам, пройдя за свою трудовую жизнь едва ли не через большинство этих должностей поочерёдно. Платили шахтёру сдельно, по весу нарубленного угля, который взвешивали на поверхности десятники компании, нередко обвиняемые рабочими в умышленно неверном весе, — споры о честности веса были постоянным источником трений между шахтёрами и хозяевами задолго до того, как в графстве появились первые рабочие товарищества, добивавшиеся от компаний присутствия собственного весовщика при взвешивании.

Взрослая жизнь шахтёра состояла из бесконечного повторения одного и того же: спуск в клети на глубину нескольких сотен футов затемно, переход по штрекам к своему забою, десять-двенадцать часов тяжёлого труда в темноте, духоте и угольной пыли, и подъём на поверхность

уже после заката, так что иные зимние месяцы шахтёр почти не видел дневного света неделями. Взрослый рацион отличался от детского количеством, но не разнообразием — тот же хлеб, сало, похлёбка из овощей и редкого мяса, эль или чай вместо воды, — а между сменами забойщику полагался короткий дневной сон, которого едва хватало, чтобы восстановить силы для новой смены. Заработок зависел от выработки — чем больше угля нарубил забойщик за смену, тем выше плата, — что подталкивало рабочих рисковать сильнее обычного ради лишнего шиллинга, игнорируя трещины в кровле или подозрительный запах газа, который осторожный шахтёр предпочёл бы доложить штейгеру и подождать проветривания. К двадцати годам Томас уже прочно считался опытным забойщиком, кашель от угольной пыли у него начинал появляться после долгих смен, а на теле — рубцы и шрамы от мелких обвалов породы, неизбежных спутников тяжёлого ремесла, которые в шахтёрской среде не считались поводом для жалоб, если не калечили насовсем. Среди шахтёров ходило присловье, что настоящего забойщика можно узнать по рукам — обожжённым кислотой подземных вод, в белёсых шрамах от падавших кусков угля и породы, с вечно въевшейся в складки кожи угольной чернотой, которую не отмывало ни одно мыло, — и руки самого Томаса к этому возрасту вполне соответствовали описанию.

Кульминацией, определившей всю дальнейшую жизнь Томаса, стала катастрофа на шахте Хартли-Колльери в ночь на 16 января 1862 года. Единственный ствол шахты, по которому одновременно поднимали уголь и откачивали воду паровой машиной, был перекрыт массивной балкой насосного оборудования весом в несколько десятков тонн; в ту ночь балка треснула и обрушилась прямо в шахтный ствол, завалив его обломками на большую глубину и отрезав путь на поверхность более чем двумстам горнякам, находившимся в тот момент под землёй на разных сменах. Томасу, которому было тогда тридцать семь лет, в ту ночь повезло — его смена закончилась за несколько часов до обвала, и он уже поднялся на поверхность, но под землёй остался его младший брат Джордж и два племянника, пришедшие на вторую, более позднюю смену. Спасательные команды, в которые немедленно вступил и сам Томас, несколько дней разбирали завал вручную, киркой и лопатой, пробиваясь сквозь обломки искорёженной балки и породы в надежде добраться до застрявших людей живыми, но единственный ствол шахты, не предусмотренный на такой случай вторым запасным выходом, делал спасение почти невозможным: воздух в замкнутом пространстве штреков быстро насыщался рудничным газом и угарным дымом от продолжавших гореть ламп оставшихся внизу горняков. Томас работал в смене добровольцев почти без сна четверо суток подряд, сменяясь с товарищами по часу у завала, передавая обломки породы по цепочке рук наверх в корзинах, пока плечи и ладони не стёрлись в кровь; наверху у ствола день и ночь молча стояли жёны, матери и дети запертых шахтёров, кутаясь в шали от январского холода и вздрагивая при каждом новом сигнале колокола, означавшем, что подъёмная клеть подняла очередную партию породы, — иногда с телом, иногда ещё без него. Вся Британия следила за спасательными работами по телеграфным сводкам в газетах, и в посёлок приезжали инженеры и добровольцы из соседних шахт, предлагая любую помощь, но завал оказался слишком плотным, а время — слишком коротким: рудничный газ без притока свежего воздуха сделал своё дело задолго до того, как спасатели пробили последний фут породы. Когда спасатели наконец пробились к месту, где укрылись запертые шахтёры, стало ясно, что все до единого — все двести четыре человека, включая Джорджа и обоих племянников Томаса, — задохнулись задолго до того, как помощь успела добраться до них; самому младшему из погибших было десять лет, он работал трапёром, как когда-то сам Томас в детстве.

Трагедия в Хартли потрясла не только посёлок, но и всю страну: о ней писали крупнейшие газеты, за похоронами, растянувшимися на несколько дней подряд, наблюдала вся Британия, а парламент уже через несколько месяцев принял поправку к Закону о рудниках, обязавшую впредь все угольные шахты страны иметь не менее двух отдельных стволов для выхода на поверхность — прямое следствие того, что единственный ствол Хартли-Колльери стал смер-

тельной ловушкой для двухсот с лишним человек. Томас прожил остаток жизни с грузом вины за то, что в ту ночь поднялся наверх раньше брата, и ещё много лет после катастрофы участвовал в сборе пожертвований для вдов и сирот погибших, которых в посёлке осталось не меньше сотни; закопчённые стены коттеджей Нью-Хартли ещё долго хранили чёрные ленты траура, вывешенные почти в каждом окне.

Женился Томас рано, ещё в двадцать два года, в 1847-м, на дочери соседнего забойщика по имени Эллен Шоу, и хотя сама катастрофа 1862 года случилась уже в зрелом браке, пережитое горе легло именно на плечи их семьи тяжелее, чем на многие другие: Эллен, потерявшая в ту ночь деверя и двух племянников мужа, долгие месяцы ходила на кладбище, где погибших хоронили в братских могилах — тел было слишком много, чтобы хоронить порознь по старому обычаю. У Томаса и Эллен родилось шестеро детей, из которых выжили четверо, и всех троих сыновей отец, вопреки собственному горькому опыту, в итоге всё же отправил под землю — иного заработка в шахтёрском посёлке попросту не существовало, а новый закон о двух стволах хотя бы давал надежду, что следующее поколение переживёт подобную катастрофу, если она повторится. Старшего сына, названного в память погибшего дяди Джорджем, Томас спускал в забой сам, своими руками, и первые месяцы работы мальчика под землёй дались отцу тяжелее, чем вся собственная шахтёрская жизнь: каждый скрип крепи заставлял его вздрагивать сильнее, чем в молодости, а конец смены сына он неизменно встречал у ствола лично, не доверяя обычному счёту поднятых клетей. Эллен, в свою очередь, так и не смогла до конца свыкнуться с тем, что все мужчины её дома — муж и трое сыновей — каждое утро спускаются в ту самую землю, что однажды уже забрала у семьи четверых родных разом, и в доме Хэдли долгие годы существовал молчаливый обычай: по возвращении мужа и сыновей с вечерней смены Эллен пересчитывала их у двери на пальцах, прежде чем садиться ужинать, — привычка, над которой никто в семье никогда не позволял себе шутить. Дочь Томаса вышла замуж за машиниста подъёмной клети и осталась жить в том же посёлке, так что внуки Томаса донашивали фамильное ремесло ещё дальше в следующий век. Сам Томас в последние десятилетия жизни стал одним из уважаемых в посёлке людей именно благодаря пережитой катастрофе — к его слову прислушивались на собраниях нового рабочего товарищества горняков графства, возникшего в конце 1860-х годов и добивавшегося от владельцев шахт более строгого соблюдения правил безопасности, сокращения смены и справедливого взвешивания угля; Томас не раз рассказывал молодым шахтёрам о ночи 16 января, не щадя слушателей подробностями, — он считал, что забывчивость опаснее всего остального, что может случиться под землёй, и что память о погибших — единственная плата, которую общество осталось должно двумстам четырём людям, задохнувшимся в завале.

Старость Томаса была отмечена всё усиливающейся одышкой и тяжёлым кашлем, который врачи посёлка — к тому времени на компанию уже работал постоянный доктор — называли «чёрной лёгочной болезнью», накопившейся за десятилетия вдыхания угольной пыли в тесных забоях; лёгкие его, по словам доктора, на разрезе выглядели бы черны, как сам уголь, который он рубил всю жизнь. К шестидесяти годам Томас уже не мог спускаться в забой самостоятельно и доработал последние годы на поверхности, сортируя уголь вместе со стариками и женщинами, пока силы вовсе не оставили его. Умер он в 1889 году, в возрасте шестидесяти четырёх лет, от осложнения той же лёгочной болезни, зимой, в том же доме компании, где родился и прожил всю жизнь; последние недели он почти не вставал с постели, и Эллен читала ему вслух газетные заметки о новых правилах безопасности на шахтах графства, введённых уже после его собственной отставки от подземной работы, — Томас слушал молча и, по словам дочери, однажды заметил, что охотно отдал бы все оставшиеся ему годы, лишь бы такие правила существовали уже в январе 1862-го. Похоронили его на том самом кладбище Нью-Хартли, где в одной из братских могил неподалёку покоился его брат Джордж вместе с двумя племянниками — и где, как знал весь посёлок, найдёт последнее пристанище почти каждый,

кто прожил здесь жизнь шахтёра; на похороны Томаса пришло, по рассказам соседей, едва ли не всё взрослое население посёлка, включая стариков, которые помнили его ещё мальчиком-трапёром, сидевшим в темноте у вентиляционной двери за много десятилетий до того, как сам он стал одним из старейшин шахтёрской общины. Надгробие Томасу поставили не самое скромное по меркам посёлка — товарищество горняков, в чьих собраниях он столько лет участвовал, собрало на простую каменную плиту с именем и датами, — редкая честь для рядового забойщика, обычно уходившего в землю без всякого памятного камня, под один лишь деревянный крест, какой ставили большинству его товарищей по ремеслу.

Солдат Великой армии Наполеона на пути в Москву

Огюст Лавернь родился в 1790 году в деревне Сен-Совёр близ города Осер, в Бургундии, в семье арендатора-землепашца, работавшего на земле местного землевладельца ещё с дореволюционных времён. Отец Огюста, Клод Лавернь, встретил революцию 1789 года молодым человеком и застал отмену феодальных повинностей, которая формально освободила семью от многих старых обязательств перед сеньором, хотя земля, которую они обрабатывали, попрежнему оставалась чужой собственностью, а не их собственной. Роды принимала деревенская повитуха в тесной каменной хижине с земляным полом и соломенной крышей — обычное жильё французского крестьянина того времени, — и из пятерых детей, рождённых в семье Лавернь, выжили к совершеннолетию трое: эпидемии оспы и кори, как и в большинстве французских деревень, собирали свою дань с младенцев почти ежегодно. Деревня Сен-Совёр жила земледелием и виноградарством, подчиняясь уже не только церковному календарю, как при старом порядке, но и новым революционным декретам и декретам сменившей революцию империи, которые докатывались до бургундской глубинки с опозданием в несколько недель, зачитываемые на деревенской площади мэром по поручению префектуры.

Детство Огюста было устроено вокруг обычного крестьянского труда: уже в шесть-семь лет мальчик пас коз и гусей, собирал хворост и помогал по двору, а к десяти годам его начинали брать в поле на посильные работы — полоть виноградник, собирать упавшие плоды, отгонять птиц от созревающего зерна. Рацион семьи состоял из чёрного хлеба грубого помола, овощной похлёбки, иногда сыра из козьего молока и очень редко мяса — разве что по большим церковным праздникам, которые революционный календарь отменил на бумаге, но крестьяне продолжали отмечать по старой памяти. Грамоте Огюста выучил деревенский кюре, сохранивший место при новой власти ценой осторожной лояльности режиму, — несколько зим подряд мальчик вместе с десятком соседских детей разбирал по складам катехизис и первые страницы букваря, а дальше, как и подавляющее большинство французских крестьянских детей той эпохи, образование его на этом заканчивалось, уступая место полевому труду.

Поворотным событием в жизни восемнадцатилетнего Огюста стал призыв на военную службу в 1808 году — Франция империи Наполеона жила в состоянии почти непрерывной войны, и ежегодный набор рекрутов по новому закону о конскрипции выгребал из деревень вроде Сен-Совёр юношей призывного возраста десятками. Жребий, по которому определяли призывников среди нескольких кандидатов одного года рождения, пал на Огюста, и хотя закон формально позволял состоятельным семьям откупиться, наняв вместо сына замену за деньги, семья Лавернь такими средствами не располагала, так что Огюст отправился в полк пешком, в компании ещё нескольких призывников того же кантона, провожаемый плачущей матерью и хмурым, не показывающим чувств отцом. Посвящение в солдатское ремесло заняло несколько месяцев в учебном депо линейного пехотного полка: муштра на плацу, обучение заряжать и стрелять из кремнёвого ружья, маршировка сомкнутым строем под барабан, штыковой бой, — обучение было коротким и практичным, рассчитанным на то, чтобы как можно быстрее превратить крестьянского парня в пригодного к строевой службе солдата действующей армии, постоянно нуждавшейся в пополнении после кровопролитных кампаний в Германии, Италии и Испании.

Первые годы службы Огюст провёл в депо на территории Франции, где муштра продолжалась ещё добрых полгода после первоначального обучения: сержанты-инструкторы, сами прошедшие не одну кампанию, вколачивали в рекрутов умение держать строй под огнём, перезаряжать ружьё в заданное число движений и не разбегаться при виде вражеской кавалерии, — именно слаженность и дисциплина пехотного каре, а не личная храбрость отдельного солдата, считались в императорской армии главным залогом победы. Форму рядового пехотинца

— синий мундир с цветными обшлагами по номеру полка, белые панталоны, кивер с бляхой и помпоном — Огюст получил не сразу: интендантство империи, обслуживавшее армию в сотни тысяч человек, постоянно испытывало нехватку сукна и кожи, так что новобранцы месяцами донашивали чужую списанную форму, прежде чем получить собственный комплект. Товарищество внутри роты складывалось у новобранцев вроде Огюста по системе «капральства» — небольшой группы из нескольких солдат, деливших один походный котёл, один костёр на биваке и общую палатку на марше, — и именно эти несколько ближайших товарищей по котлу, а не абстрактное понятие полка или армии, составляли для рядового пехотинца тот круг людей, ради которого он готов был идти в бой и которому доверял собственную жизнь в минуту опасности. Денежное жалованье рядового было скромным и выплачивалось нерегулярно, с задержками на недели и месяцы, так что солдаты императорской армии привыкли кормиться прежде всего реквизицией у населения занятых территорий — практика, которую офицеры официально осуждали, но на деле почти повсеместно терпели, понимая, что интендантская служба попросту не успевает снабжать армию такого размера по уставным нормам.

К 1812 году Огюст дослужился до звания капрала в пехотном полку линейной пехоты, успев повоевать в Германии против Пруссии и Австрии и получить лёгкое ранение штыком в предплечье при Ваграме в 1809 году — рана, зажившая без осложнений и прибавившая молодому солдату уважения товарищей по роте. Взрослая солдатская жизнь состояла из бесконечных переходов, лагерных биваков, скудного пайка — сухарей, солонины, изредка вина или водки, выдаваемой по праздникам или перед боем для храбрости, — и постоянного ожидания нового приказа, который мог означать как долгий переход через пол-Европы, так и внезапное сражение на следующий день. Снаряжение пехотинца весило до тридцати килограммов — ружьё, патронташ с шестьюдесятью патронами, ранец с запасной обувью и бельём, шинель, скатанная через плечо, — и марш по тридцать-сорок километров в сутки был для солдата Великой армии делом обычным, а не исключительным.

Кульминацией всей жизни Огюста стал поход в Россию летом 1812 года — крупнейшая военная кампания эпохи, в которую Наполеон собрал более шестисот тысяч солдат со всей подвластной ему Европы: французов, поляков, немцев, итальянцев, голландцев и представителей десятка других народов, объединённых общим императорским знаменем. Огюст перешёл реку Неман в июне 1812 года вместе с главными силами армии, ещё не представляя себе истинного масштаба предстоящего испытания: русские войска отступали вглубь страны, избегая решающего сражения, и Великая армия, рассчитывавшая на быструю победу в одной-двух генеральных битвах, как это было прежде в Австрии и Пруссии, месяц за месяцем втягивалась всё глубже в выжженную отступающими русскими землю, где не оставалось ни провианта, ни фуража для измученных лошадей. Под Смоленском и затем при Бородине в сентябре Огюст участвовал в одних из самых кровопролитных сражений, какие видела его эпоха, — при Бородине в один день полегли, по разным подсчётам, десятки тысяч человек с обеих сторон, и рота Огюста потеряла в той битве едва ли не половину личного состава, включая ротного командира, павшего от картечи в нескольких шагах от самого Огюста. Москву армия заняла почти пустой — жители покинули город прежде отступления русской армии, — а вскоре после вступления французов начались пожары, превратившие большую часть деревянной Москвы в пепелище в считаные дни; Огюст вместе с товарищами по роте провёл в горящем и разграбленном городе немногим больше месяца, тщетно ожидая мирных переговоров, которые так и не последовали. Первые недели в Москве солдаты роты Огюста, как и большая часть армии, жили относительно сносно — в уцелевших от пожара домах, на запасах вина и солёной рыбы, найденных в оставленных купеческих погребах, — и Огюст, по позднейшим рассказам, даже обзавёлся трофейной шубой и парой сапог лучшей выделки, чем собственные казённые, сильно стоптанные за месяцы похода; никто из солдат тогда ещё не догадывался, что эти же трофеи через месяц станут для многих последним, что они успеют приобрести в жизни. Император

ждал от царя Александра предложения о мире, которое так и не поступило, а тем временем холода приближались, фураж для десятков тысяч лошадей в разорённой и сожжённой округе истощился почти полностью, и Огюст своими глазами видел, как кавалерийские части одна за другой теряли лошадей от бескормицы ещё до того, как армия вообще покинула город.

Отступление, начавшееся в октябре 1812 года, обернулось для Огюста и всей Великой армии подлинной катастрофой, которую он не забывал до конца своих дней. Ранние морозы ударили по армии, не подготовленной к русской зиме — ни тёплой одежды, ни подкованных на шипы лошадей, ни достаточного запаса провианта у отступающих колонн не было, — а казачьи разъезды и партизанские отряды крестьян непрерывно тревожили растянувшуюся по единственной разорённой дороге колонну, добивая отставших и обозы. Огюст видел, как десятками, а затем сотнями замерзали насмерть прямо на марше солдаты, слишком обессилевшие, чтобы подняться после короткого привала у костра, как лошади падали и их тут же разделывали на мясо полуголодные товарищи, как сослуживцы, с которыми он делил бивак не один год, теряли рассудок от голода и холода прямо на глазах. При переправе через реку Березину в конце ноября саперы под огнём противника навели два хрупких моста, по которым остатки армии переправлялись под артиллерийским обстрелом и давкой, в которой гибли не только от пуль и ядер, но и затоптанные собственными обезумевшими от страха товарищами; Огюсту, которому тогда едва перевалило за двадцать два года, пришлось пробиваться через эту переправу вместе с горсткой выживших солдат своей роты, потеряв по пути одного из двух земляков из Сен-Совёр, вместе с которым уходил на призыв четыре года назад. Второй земляк, с которым Огюст делил на двоих последний сухарь ещё под Смоленском, сгинул несколькими днями позже самой переправы — просто не поднялся однажды утром с места ночного привала, замёрзнув во сне вместе с десятком других солдат, слишком обессиленных, чтобы развести костёр заново после того, как погасший за ночь огонь не удалось оживить отсыревшим хворостом. Огюст выжил во многом благодаря старому сержанту их роты, ветерану ещё итальянских походов Бонапарта, который заставлял своих солдат ночевать не поодиночке, а тесной группой, прижавшись друг к другу спинами под одной растянутой шинелью, — немудрёная хитрость, спасавшая тепло и, вместе с ним, жизнь тем, кто находил в себе силы её соблюдать; сам сержант, по иронии судьбы, не пережил переправы через Березину, раздавленный в давке у моста вместе с десятками других солдат, которых течение реки унесло прежде, чем кто-либо успел протянуть руку помощи. Из шестисот с лишним тысяч человек, перешедших Неман в июне, обратно во Францию и союзные земли вернулось, по позднейшим подсчётам, меньше одного процента первоначального состава — и Огюст оказался в числе этой горстки уцелевших, добравшись до Пруссии в начале 1813 года обмороженным, истощённым до костей и с почерневшими от мороза пальцами на левой руке, два из которых пришлось позже ампутировать полковому хирургу.

Жениться Огюст, вопреки обычаю крестьян его сословия, смог лишь поздно — военная служба растянулась у него почти на целое десятилетие без перерыва, а после возвращения из России империя почти сразу бросила уцелевших ветеранов в новую войну против собравшейся против Наполеона коалиции европейских держав. В 1813 году, едва оправившись от обморожений в госпитале прусского города, Огюст вновь был поставлен в строй — империя спешно собирала новую армию взамен почти полностью погибшей в России, призывая под ружьё даже совсем юных новобранцев, которых старые солдаты вроде Огюста невольно учили тем же урокам выживания, какие сами усвоили ценой стольких потерянных товарищей. Он участвовал в сражении под Лейпцигом осенью того же года — крупнейшей по числу участников битве эпохи наполеоновских войн, где против Франции и её союзников впервые единым фронтом выступили армии России, Пруссии, Австрии и Швеции, — три дня подряд его полк держал позиции под непрерывным артиллерийским огнём, пока нехватка пороха и возросшее давление противника не вынудили Наполеона отдать приказ об общем отступлении за Рейн.

В 1814 году Огюст защищал уже саму французскую землю от вторгшихся на неё войск коалиции, участвуя в нескольких арьергардных стычках на подступах к Парижу, а после первого отречения императора в апреле того же года был временно демобилизован новым королевским правительством, сокращавшим непомерно разросшуюся императорскую армию, и впервые за долгие шесть лет вернулся в родную деревню, где отец, уже немолодой, едва узнал в измождённом, покрытом шрамами ветеране прежнего деревенского мальчишку, а младшие соседские дети и вовсе сторонились его как чужого, незнакомого человека. Именно тогда, в короткое затишье 1814–1815 годов, Огюст успел жениться на дочери соседнего арендатора по имени Полин Бриссак, знавшей его ещё ребёнком, задолго до войны, и прожить с молодой женой несколько спокойных месяцев, работая в отцовском хозяйстве и понемногу привыкая к мирной жизни, которую, казалось, заслужил ценой стольких потерянных лет. Односельчане, впрочем, замечали в вернувшемся с войны Огюсте перемену, которую не могли толком объяснить словами: он подолгу молчал за общим столом, вздрагивал при резком стуке или крике, а по ночам Полин не раз будила его, когда он во сне бормотал что-то о переправе и о замёрзших в снегу товарищах, — то, что много позже назовут обычным для пережившего войну человека состоянием, в деревне Сен-Совёр объясняли попросту тем, что парень слишком много повидал там, на востоке, и ему нужно время, чтобы снова стать самим собой. Свадьбу играли скромно, без обычного деревенского многолюдья, — после стольких лет войны и неурожайных военных лет во Франции было не до пышных гуляний, — но кюре, венчавший их в той же церкви, где когда-то крестил самого Огюста, заметил, что редко видел жениха, который держал бы руку невесты так, будто боится, что она вот-вот исчезнет.

Возвращение Наполеона с острова Эльба в марте 1815 года и начало «Ста дней» прервали эту короткую мирную передышку: Огюст, как и тысячи других ветеранов императорской армии, вновь был призван под знамёна, движимый не столько политическими убеждениями, сколько старой солдатской верностью человеку, под началом которого прошла вся его зрелая жизнь, и профессиональным ремеслом, иного применения которому он к тому времени просто не знал. Полин, уже носившая под сердцем их первого и единственного ребёнка, умоляла его найти способ остаться — соседи шептались, что кое-кому из новобранцев удавалось откупиться или спрятаться в дальнем хозяйстве до набора, — но Огюст ответил ей, по свидетельству золовки, что солдат, однажды научившийся воевать, не имеет права отсиживаться в деревне, пока его полк вновь идёт в бой без него, и что совесть бывшего капрала императорской гвардии не позволит ему смотреть в глаза товарищам, случись ему уцелеть такой ценой. Полк его, восстановленный после расформирования предыдущего года, пополнили как бывалыми ветеранами наподобие самого Огюста, так и необстрелянными юнцами, и уже в начале июня эта разношёрстная часть выступила на север, к бельгийской границе, куда стягивались основные силы для решающего столкновения с объединённой армией герцога Веллингтонского и подходящими с востока пруссаками. 18 июня того же года, в день генерального сражения при Ватерлоо, полк Огюста был брошен в одну из многочисленных пехотных атак на позиции союзников, укрепившиеся на невысокой гряде холмов близ хутора Мон-Сен-Жан: французская пехота шла плотными колоннами под огнём английской артиллерии и ружейным залповым огнём выстроенных в каре британских батальонов, неся огромные потери на каждом шагу подъёма по открытому склону. Огюст, уже немолодой по меркам рядового состава — ему было двадцать пять лет, из которых почти семь прошли в военных походах, — шёл в этот день во второй шеренге своей роты, подбадривая молодых новобранцев, многие из которых оказались под огнём впервые в жизни; по рассказам немногих выживших товарищей, он погиб, не дойдя нескольких десятков шагов до гребня холма, занятого британской пехотой, — пуля или картечь настигла его почти одновременно с ротным командиром, так что рота в последние минуты атаки осталась вовсе без офицеров и унтеров, способных отдавать приказы. Он упал на мокрой от недавнего дождя траве бельгийского поля, так и не успев узнать, что исход этого

единственного дня решит не только судьбу сражения, но и судьбу всей четвертьвековой эпохи наполеоновских войн, в которой прошла вся его короткая взрослая жизнь: уже к вечеру того же дня прибывшие прусские войска довершили разгром французской армии, а несколько недель спустя Наполеон был вынужден отречься от престола во второй и последний раз.

Весть о гибели Огюста дошла до Сен-Совёр лишь спустя несколько недель после самого сражения — официальное извещение о смерти пришло через полковую канцелярию с опозданием, обычным для времени, когда почта едва поспевала за бурным ходом военных и политических событий, — и Полин узнала о вдовстве уже на седьмом месяце беременности, из короткой официальной бумаги, которую ей вслух прочёл деревенский кюре, не зная, как смягчить казённые строки. Она родила сына осенью 1815 года, назвав его в честь отца мужа Клодом, и так и не вышла замуж повторно, хотя по деревенским меркам оставалась ещё достаточно молода и не бедна, получая скромную вдовью долю из того, что оставалось от хозяйства свёкра; соседи объясняли это тем, что сердце её осталось там же, на бельгийском поле, где осталось и тело мужа, — объяснение немудрёное, но, по всей видимости, недалёкое от истины. Полин дожила век в доме отца Огюста в Сен-Совёр и воспитывала сына на рассказах соседей-ветеранов о далёком походе в Россию и о страшной зиме двенадцатого года, которую их собственный отец, по счастью, пережил — хотя пережить саму войну целиком ему было не суждено. Деревенский кюре занёс имя Огюста Лаверн в приходскую книгу памяти погибших односельчан вместе с именами ещё десятка парней Сен-Совёр, не вернувшихся с войн империи, — длинный список, выросший за годы правления Наполеона так, что в иных бургундских деревнях после 1815 года не осталось ни одной семьи, не потерявшей сына, мужа или брата на полях Европы от Испании до самой Москвы. Тело Огюста, как и тысяч других солдат, павших при Ватерлоо, осталось лежать в общей могиле на бельгийской земле, вдалеке от бургундского кладбища, где покоились его родители, — а имя его, вырезанное на деревенском памятнике погибшим землякам много десятилетий спустя, стало для потомков одной из множества одинаковых строк в длинном перечне цены, которую крестьянская Франция заплатила за имперскую славу.

Солдат Армии Союза, бывший раб

Калеб Тёрнер родился в 1839 году на хлопковой плантации близ города Колумбия в Южной Каролине, в рабстве, принадлежавшем по закону штата плантатору по фамилии Эштон, владевшему землёй и несколькими десятками невольников. Мать Калеба, Дилси, работала на той же плантации прачкой и швеёй в господском доме, а отца своего Калеб толком не помнил — тот был продан другому хозяину ещё до рождения сына, обычная судьба невольничьих семей, которых закон не признавал семьями в полном смысле слова и мог разлучить распоряжением хозяина в любой момент, без суда и без объяснений. Роды принимала старшая невольница плантации, исполнявшая роль повитухи для всех рабынь имения, — врача к рабам не звали почти никогда, разве что в случае крайней хозяйской нужды сохранить ценную рабочую силу, — и из детей, рождённых на плантации Эштона в том десятилетии, выживала едва ли половина, унесённая то лихорадкой, то недоеданием матерей, то обычной небрежностью хозяев к здоровью невольничьих младенцев.

Детство Калеба было устроено так, как было устроено детство большинства рабских детей Юга: до шести-семи лет он считался слишком маленьким для полевой работы и оставался на попечении старух плантации, присматривавших за младшими детьми, пока их матери трудились в поле от зари до зари, а затем, едва окрепнув, его поставили на лёгкие работы — отгонять птиц от посевов, носить воду полевым рабочим, подметать двор у хозяйского дома. Детский рацион невольников состоял из кукурузной каши, солёной свинины худшего сорта и патоки, выдаваемых надсмотрщиком по установленной норме раз в неделю, — пищи хватало ровно настолько, чтобы ребёнок мог работать, но не настолько, чтобы расти крепким; мясо получше или сладости перепадали невольничьим детям крайне редко, обычно в виде объедков с хозяйского стола, которые старшие рабыни украдкой приносили своим и чужим детям. Грамоте Калеба никто не учил — законы Южной Каролины и большинства южных штатов прямо запрещали обучать рабов чтению и письму под страхом сурового наказания как для самого невольника, так и для того, кто осмелился бы его учить, — и единственным знанием, которое Калеб получил в детстве, были навыки, перенятые от старших невольников: как работать в поле, как различать хозяйское настроение по походке надсмотрщика, как молчать и опускать глаза там, где белый человек ждал покорности.

Посвящение Калеба в полноценный невольничий труд пришлось на двенадцать-тринадцать лет, когда его поставили работать в хлопковом поле наравне со взрослыми: собирать хлопок с рассвета до заката по установленной надсмотрщиком дневной норме, недобор которой оборачивался плетью, а перевыполнение — увеличением нормы на будущее, так что опытные невольники нарочно не показывали всей своей скорости, чтобы не навлечь на себя и товарищей ещё более тяжёлую выработку. К шестнадцати годам Калеб уже считался крепким полевым работником и однажды, в наказание за дерзкий, по мнению надсмотрщика, взгляд, получил двадцать плетей у коновязи на глазах у согнанных смотреть остальных невольников — обычная практика устрашения, которой плантаторы поддерживали дисциплину среди рабов, не тратясь на более сложные методы принуждения. Той же зимой старший брат Дилси, дядя Калеба по материнской линии, был продан работорговцу за долги хозяина и увезён в сторону Миссисипи без права попрощаться с роднёй — событие, оставившее в памяти подростка глубокий след и укрепившее в нём тайную, тщательно скрываемую ненависть к самому устройству мира, в котором он родился.

Хлопковая плантация Эштона насчитывала около шестидесяти невольников разного возраста и держалась на строгой иерархии внутри самого рабского сообщества: домашняя прислуга господского дома считала себя выше полевых рабочих, надсмотрщик из числа доверенных невольников — редкая, но не исключительная практика на крупных плантациях —

пользовался привилегиями недоступными простому полевому рабу, а те, кто владел ремеслом кузнеца, плотника или конюха, ценились хозяином выше и реже подвергались продаже на сторону. Калеб, не обученный никакому ремеслу, кроме полевого труда, с детства понимал, что находится почти на самом дне этой внутренней иерархии, а значит, в случае денежных затруднений хозяина именно такие, как он, рисковали быть проданными первыми — страх, который преследовал каждого невольника плантации вне зависимости от возраста, ведь торговля людьми оставалась для южных плантаторов таким же обычным способом поправить дела, как продажа урожая или скота. По воскресеньям, единственному дню относительного отдыха, невольники плантации собирались для богослужения — формально под надзором белого проповедника, читавшего им отрывки Писания, выбранные так, чтобы оправдывать покорность хозяину, — но вечером того же дня, уже без хозяйского присмотра, устраивали собственные, тайные молитвенные собрания в лесу за плантацией, где пели духовные песни с зашифрованным смыслом освобождения, понятным только самим невольникам.

Взрослая жизнь Калеба до начала Гражданской войны протекала в том же изнурительном цикле полевых работ, подчинённом смене хлопковых сезонов: весенняя посадка, летняя прополка под палящим солнцем, осенний сбор урожая от зари до зари, зимний ремонт инвентаря и построек. Взрослый рацион отличался от детского количеством, но не разнообразием, а жильём невольнику служила тесная бревенчатая хижина без окон, которую он делил с другими рабочими руками плантации; жениться по-настоящему, перед законом, раб не мог — браки невольников не признавались судами Южной Каролины юридически значимыми, — но сама невольничья община заключала собственные, неофициальные союзы, которые уважались внутри рабского квартала плантации почти как настоящие. В 1858 году девятнадцатилетний Калеб сошёлся таким неофициальным союзом с невольницей по имени Люси с соседнего участка того же имения, и к началу войны у них родилось двое детей, рождённых, как и их родители, в рабство по праву матери — закон южных штатов определял статус ребёнка невольницы автоматически, независимо от того, кем был отец.

Кульминацией жизни Калеба стало решение бежать к наступавшим войскам северян летом 1863 года, вскоре после того, как весть о подписанной президентом Линкольном Прокламации об освобождении достигла плантации через слухи, передаваемые невольниками тайно, из уст в уста, в обход хозяйского запрета. Прокламация формально объявляла свободными рабов на территориях, находившихся в состоянии мятежа против Союза, — то есть именно там, где жил Калеб, — и хотя плантатор Эштон и слышать не хотел о том, чтобы признать свободу собственных невольников без прямого военного принуждения, весть о прокламации разнеслась по невольничьим кварталам Юга стремительнее любого официального известия. Когда части федеральной армии приблизились к границам округа в ходе одной из кампаний 1863 года, Калеб вместе с ещё несколькими невольниками плантации ночью бежал через болото к расположению северян, оставив Люси с детьми на плантации в надежде вернуться за ними позже, — решение, которое далось ему тяжелее всего остального в жизни, но которое он принял, рассудив, что свободным мужчиной сможет помочь семье больше, чем оставаясь рабом рядом с нею. Добравшись до лагеря северян, Калеб, как и тысячи других беглых невольников того лета, был принят лагерным комендантом как «контрабанда войны» — статус, придуманный самими северными офицерами ещё в начале войны для беглых рабов, формально ещё не вполне свободных, но уже и не подлежащих возврату хозяевам, — а вскоре после создания полков цветных войск записался добровольцем в один из таких полков, формировавшихся в тот год по всему занятому северянами Югу.

Решение бежать именно летом 1863 года созрело не вдруг: Калеб и несколько доверенных товарищей по плантации почти год обсуждали побег шёпотом во время ночных собраний в лесу, взвешивая риск быть пойманным патрулём охотников за беглыми невольниками — особой категорией белых южан, зарабатывавших на жизнь выслеживанием и возвратом

сбежавших рабов за вознаграждение от хозяев, — против шанса добраться до федеральных линий и обрести свободу раз и навсегда. Беглецов в прежние годы, пойманных патрулём, ждало жестокое показательное наказание на глазах у всей плантации, призванное отбить у остальных невольников всякую охоту повторить подобную попытку, и Калеб своими глазами видел однажды, как привели назад закованного в кандалы соседа, пытавшегося бежать годом раньше, — зрелище, которое едва не отговорило его от собственного побега, если бы не весть о прокламации Линкольна, перевесившая страх надеждой. Служба в полку цветных войск принесла Калебу не только оружие и форму, но и первое в жизни официальное, пусть и солдатское жалованье, которое, впрочем, долгое время выплачивалось неграм меньшим по сумме, чем белым солдатам той же армии, — несправедливость, из-за которой в некоторых полках цветных войск вспыхивали протесты, пока конгресс не уравнял жалованье законом в 1864 году задним числом. Обучение новобранца заняло несколько недель строевой муштры под началом белых офицеров, которым по правилам того времени исключительно и полагалось командовать подразделениями цветных войск, — сами чернокожие солдаты могли дослужиться максимум до младших унтер-офицерских чинов, — и Калеб, к собственному удивлению, обнаружил в армейской дисциплине нечто, отдалённо родственное дисциплине плантации, только теперь направленное не на его порабощение, а на борьбу за собственную свободу и свободу таких же, как он. Полк участвовал в нескольких стычках и в осадных работах на подступах к укреплённым позициям конфедератов, и Калеб на собственном опыте узнал, что отношение южан к пленным чернокожим солдатам было куда более жестоким, чем к пленным белым северянам: по лагерю ходили страшные рассказы о расправах южных войск над сдавшимися в плен цветными солдатами, которых конфедераты нередко отказывались признавать военнопленными, считая беглыми невольниками, поднявшими оружие на законного хозяина, — и каждый чернокожий солдат знал, что попадание в плен грозит ему куда худшей участью, чем белому товарищу по оружию.

Отношение белых офицеров-северян к собственным чернокожим подчинённым, при всей декларируемой общности дела освобождения, далеко не всегда было свободно от предрассудков эпохи: Калеб не раз слышал, как иные офицеры в частных разговорах между собой сомневались в способности бывших рабов воевать наравне с белыми солдатами, и лишь стойкость цветных полков в первых же серьёзных сражениях постепенно переламывала подобный скептицизм, вынуждая даже самых предубеждённых командиров признавать боевые качества людей, которых ещё недавно считали годными лишь для подневольного труда на плантации. В 1864 году полк Калеба участвовал в одном из сражений на подступах к укреплённым позициям южан, где чернокожие части были брошены в лобовую атаку на хорошо укреплённые редуты противника — атаку, обернувшуюся тяжёлыми потерями и подтвердившую худшие слухи о том, как конфедераты обращаются с пленными неграми: нескольких раненых солдат полка, оставшихся на поле боя, южане застрелили на месте, не взяв в плен, о чём уцелевшие товарищи рассказывали потом с глухой, невыговариваемой горечью. Сам Калеб в том бою получил касательное ранение в бедро, но сумел отползти к своим линиям вместе с раненым сослуживцем, которого тащил на себе добрую четверть мили под огнём, — поступок, за который полковой командир после боя лично пожал ему руку перед строем, редкая по тем временам честь для рядового цветных войск со стороны белого офицера. Рана зажила за несколько недель в полевом госпитале, где Калеба, как и других раненых чернокожих солдат, разместили в отдельном от белых пациентов бараке — сегрегация сохранялась даже внутри формально единой армии, боровшейся за отмену рабства, — и уход за ранеными неграми госпитальные санитары нередко откладывали на потом, после того как заканчивали с белыми солдатами, так что выздоровление цветного раненого часто затягивалось не столько из-за тяжести самого ранения, сколько из-за порядка очереди на перевязку. Калеб вернулся в строй к концу года, успев застать капитуляцию армии генерала Ли в апреле 1865 года уже в чине капрала — чин, которого достигали

немногие из его полка, учитывая ограничения, наложенные армией на продвижение чернокожих солдат по службе, — и присутствовал при параде победы федеральных войск в занятом южном городе, где, по его позднейшим рассказам детям, чернокожие зрители-вольноотпущенники плакали и пели на обочинах дороги при виде марширующих мимо полков цветных войск с оружием на плече, многие из них впервые в жизни видя вооружённых чернокожих людей, которых никто не смел тронуть.

После демобилизации в конце 1865 года Калеб вернулся в Южную Каролину уже свободным человеком по букве принятой в декабре того же года Тринадцатой поправки к конституции, окончательно и повсеместно отменившей рабство на территории всей страны, включая те пограничные штаты, которых не коснулась прежняя Прокламация Линкольна. Он нашёл Люси и детей на той же плантации, где прежде служил невольником, — хозяин Эштон, лишившись дарового труда, пытался удержать бывших рабов работниками на кабальных условиях испольщины, по которым издольщик отдавал землевладельцу значительную часть урожая за аренду земли, инструмента и жилья, — и Калеб, чьё военное жалованье и выслуженные за службу небольшие сбережения позволяли хоть немного торговаться об условиях, увёл семью с прежней плантации на соседний участок, где испольные условия оказались чуть менее разорительны. Воссоединение с Люси и детьми далось непросто: почти два года разлуки оставили след на всех, младшая дочь поначалу не узнавала вернувшегося с войны отца и пряталась за материнскую юбку при его приближении, а сам Калеб, привыкший к армейской дисциплине и лагерной жизни, не сразу сумел вновь войти в привычный ритм семейного быта, которого был так долго лишён. Люси рассказала ему, как пережила эти два года на плантации одна с детьми, не зная наверняка, жив ли он, — весточки от беглых солдат доходили до оставшихся невольников крайне редко и ненадёжно, через случайных людей или слухи, — и как хозяин Эштон, узнав о побеге Калеба, выместил злость на оставшейся семье урезанным пайком и усиленным надзором, хотя и не решился на прямую расправу, опасаясь, что федеральные войска теперь не так далеко, как прежде. Там он женился на Люси уже официальным, признанным законом браком — первым законным браком в его жизни, невозможным для невольника, — в маленькой баптистской церкви, построенной освобождёнными неграми округа своими силами сразу после войны, и у них родилось ещё трое детей, выросших уже свободными с рождения, хотя и в бедности, типичной для издольщиков послевоенного Юга.

Годы испольщины на новом участке дались семье Калеба немногим легче, чем прежняя неволя по существу, хотя и были несравнимо лучше по закону: землевладелец выдавал семян и инструмента в долг под будущий урожай по завышенным ценам собственной лавки, так что издольщик нередко оставался должен хозяину земли даже после хорошего урожая, — порочный круг, из которого вырваться удавалось немногим освобождённым неграм Юга в последующие десятилетия. Калеб, однако, сумел за несколько лет скопить достаточно, чтобы выкупить в рассрочку небольшой собственный клочок земли — редкая по тем временам удача для бывшего раба, которой он добился упорством и помощью баптистской общины, одалживавшей деньги друг другу под честное слово там, где банки белых южан неграм отказывали в кредите почти без исключения. Старость Калеба пришлась на десятилетия, когда надежды эпохи Реконструкции на подлинное гражданское равенство одна за другой сменились новыми формами притеснения — законами о сегрегации и запугиванием со стороны возникших тогда расистских организаций, нападавших на чернокожих ветеранов войны с особой, демонстративной жестокостью именно за то, что те когда-то носили синюю форму северной армии с оружием в руках. Калеб дважды в жизни подвергался угрозам со стороны таких организаций — один раз дом его семьи был подожжён неизвестными ночью, по счастью без человеческих жертв, — но до конца дней он не снимал со стены маленькой хижины старый, потрёпанный войной полковой значок, считая его единственным доказательством того, что человек его происхождения мог однажды сражаться не только за собственную свободу, но и за свободу тех, кто придёт

после него. Умер Калеб в 1901 году, в возрасте шестидесяти двух лет, от осложнения давней раны в ноге, которая с годами начала гноиться и так и не получила должного лечения в условиях бедности и скудной медицинской помощи, доступной чернокожим фермерам-издольщикам послевоенного Юга. Похоронили его на кладбище при той самой баптистской церкви, где он когда-то венчался с Люси, рядом с несколькими десятками таких же бывших солдат цветных войск округа, — ветераны устроили ему скромные воинские почести, какие могла позволить себе их небогатая община, и на простой деревянной табличке над могилой написали коротко: солдат и свободный человек, — два слова, которые для Калеба и его поколения значили больше, чем могли бы выразить любые другие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.